

С.А. Сорин во Франции (1930-е – 1940-е гг.)

Новое десятилетие начиналось для Сорина романтически.

Весной–осенью 1930 г. шла работа над портретом Г.Н. Кузнецовой. Ей предшествовало знакомство в кругу С.В. Рахманинова с Буниными. «В Париже был С.В. Рахманинов с женой и дочерьми. Девятого мая 1930 года они пригласили Ивана Алексеевича и Веру Николаевну [Буниных] на обед. У Сергея Васильевича Бунины встретились с композитором А.К. Глазуновым, с которым познакомились ранее – 11 сентября 1929 года у художника Сорина» [1, с. 300].

Об этой встрече сохранились записи в дневнике В.Н. Буниной, в которых уловлены характерные черты бытового облика художника:

«11. IX. 29. Завтрак в Antibes у Сорина – с Глазуновым и его женой, Тэффи и Тикстоном. Глазунов вполне рамоли <...>.

2 августа [1930]. Сорин был недолго, т. к. он ежедневно ездит в два часа на этюды. [...] Он рассказывал, что когда жил в Арзамасе, Горький говорил ему: “Вот поезжайте с Катей в Нижний и купите ей шелку на платье, такого, чтобы шуршал, люблю шуршащие юбки”. Галя [Кузнецова] верно заметила, что Сорин причесывается под Гоголя. [...]

7 августа. Вчера все утро ушло на Сорина. Приезжал смотреть, где писать Галю. [...] Мы все восхищались М. А. [Алдановым], что он не боится расспрашивать о том, что нужно ему для романа. На обеде у Сорина он расспрашивал его об освещении, какое могло быть в Юсуповском дворце в марте около шести вечера, о дворце, подробностях его украшений. – Он признавался опять, что самое для него трудное – описывать, а разговоры – очень легко. [...]

16 августа. [...] Сорин сказал, что он последний ученик Репина. Вообще, он рассказывает о себе много и все время втолковывает, что он знаменит и замечательный человек. [...]» [5, с. 170, 183, 186, 187].

О работе над портретом подробно написала в «Грасском дневнике» сама Г.Н. Кузнецова:

«18.05.1930. <...> На этом же [прощальном] вечере [у Цетлиных в Париже] я

опять встретила с Соринным, которого узнала не сразу. Он долго, очень долго разговаривал со мной, мы вспоминали его приезд в Грасс летом, вечер в саду, тишину, стол под пальмой, блюдо с фидами... Он долго уговаривал меня остаться на три недели в Париже, т. к. ему хочется написать мой портрет. Даже опрашивал: не приехать ли для этого на юг?

У него казацкие, каре-черные глаза в желтоватой тени глазных впадин и хохлатое лицо с черными прямыми, чуть не конскими волосами. Алданов сказал и нем, что мода на него в мире необыкновенная и фотография с его портрета, приложенная к переводу моей книги, могла бы иметь для меня большое значение» [8, с. 156-157].

«31 июля 1930 г. “Как-то на днях, под вечер, неожиданно приехал с визитом Сорин. Сказал, что звонил несколько раз по телефону, но не заставал. А у нас уже знали, что звонил он, но И.[ван]А.[лексеевич Бунин] не хотел отзывать: был уверен, что он хочет писать с меня, а это, по его мнению, ни к чему. Как бы то ни было, он приехал. И.А. принял его очень сухо... Он высидел пятнадцать минут и уехал, не сказав ни слова о портрете”. <...>

[05.08.1930]. <...> Снимались в этот день бесчисленное количество раз. Рахманинов, между прочим, очень убеждал меня в том, что надо дать писать с себя портрет, если Сорин возобновит этот разговор. Его очень поддерживал Алданов.

6 августа. Вчера обедали в Мужене у Сорина. Приехали заранее с Алдановым из Канн. Сорин был очень мил, как-то особенно родственен на этот раз. Хвалил напечатанный в “Новостях” отрывок из “Золотого Рога”: “Ну, конечно, что говорить об Иване Алексеевиче, но вот я бы не мог?! Я улицу не могу описать”.

Сорина мы застали еще в рабочем костюме. Пошли вместе осматривать городок. Едва мы остались на минуту одни, он сказал мне:

– Ну, как же будет с вашим портретом?

Я сказала, что не знаю. Подошел Алданов и, вмешавшись, спросил, за чем дело стало? Сорин с самолюбивой улыбкой ответил:

– Да ведь я тоже капризный! Вот с Парижа жду ответа и все не получаю его.

– Я буду посредником между вами, – сказал Алданов. – Галина Николаевна, соглашайтесь скорей!

Обед подали в саду. Стол был покрыт провансальской скатертью, вино, хотя и простое, было превосходное. Приятель Сорина, А. Панчулидзе, потомок Вигеля, толстяк с висящими вниз щеками, заговорил с Алдановым, который, узнав, что он окон-

чил пажеский корпус, тотчас стал расспрашивать для романа, какой был германский флаг на посольстве, какой был такой-то зал во дворце, какая обивка Михайловского театра. В конце концов, он стал спрашивать нас: что видишь прежде всего, когдаходишь зимой в 7 часов вечера в сад; каков должен быть снег, ноздреватый или крепкий, какие стволы деревьев, какие цвета. Расспросив, все записал. Нужно большое писательское мужество, даже смирение, чтобы открыто признаваться в своем незнании чего-нибудь и так прямо расспрашивать, и оно есть только у него одного. Между прочим, он спросил Сорина, чем определяется для него решение писать портрет, с первого раза или постепенно. Сорин сказал, что с первого раза. <...>

12 августа. Была на первом сеансе. Сначала Сорин долго усаживал меня, смотрел. Долго не мог выбрать позы. Наконец посадил с книгой, раскрытой на коленях. Сделал первый карандашный набросок. Рисовал, стоя посреди комнаты, в очках. Разговаривал, но, видимо, полумашинально. Потом примерял голубую шелковую повязку. Сначала восхищался, потом попросил сбросить ее и сказал:

– Нет, мне нужен от вас документ. Это уже маскарад. А я хочу написать *вас*. Давайте же писать честную голову, без всего этого...

13 августа. Вчера в комнате уже было два подрамника с полотном и мольберт. С.[орин] сделал большой карандашный набросок. Был совсем нелюбезен, даже суров, занят был одной мыслью, чтобы я не двигалась, и злился, когда время стало подходить к 6 часам, ничуть не скрывая этого. Чтобы “оживить” меня – разговаривал, вернее, рассказывал, но все это опять-таки поглощенный работой. Много рассказывал о себе, и вот один рассказ, которым он хотел показать степень своей гордости.

“Лет семь тому назад я был в Лондоне, и вот однажды телефон. Звонят из Галереи, говорят, что герцогиня Йоркская (будущая королева-мать – А.Ш.) хочет меня видеть. Я говорю, я небритый... Мне отвечают, все равно приезжайте немедленно. Я еду. Она там, действительно ждет. Начался разговор. Она хочет, чтобы я написал ее портрет. “О цене мы говорить не будем. Это вы стговоритесь, с кем полагается”. Вижу, что галерейщик мне делает лицом отчаянные знаки: мол, соглашайся, хорошо заплатят. Ну, начал я писать. Она была прелестная, такая веселая, молоденькая, прямо из старинного английского романа. Написал ее я в 15 сеансов. Писал по утрам, потом уезжал завтракать и ехал в поместье к лорду Б., где писал леди Б. Однажды жду ее (Йоркскую), жду, жду – нету. Наконец, за полчаса перед окончанием сеанса пришла такая красная и говорит: “Вот я опоздала! Знаете, хотите, оставайтесь со мной завтракать, а

потом я велю позвонить леди Б., что вы будете писать вместо нее сегодня меня?" Я, конечно, согласился. Она ушла, я жду, входит метрдотель и говорит: "Пожалуйста в соседнюю комнату, вам там подано". Я ничего не сказал, но поразился ужасно, вышел в парк, иду, иду, не знаю, что делать? Как же так, она меня пригласила завтракать с собой, а тут вдруг – в комнату... Очень я боролся с собой, но в конце концов не смог. Парк огромный, идти далеко, да и нет тут ресторанов поблизости, ну, к счастью, проезжало мимо такси, я его взял и поехал, – итальянский там был ресторан, я там позавтракал и вернулся во дворец. Ну, она пришла, ни слова. Я тоже. Дома рассказал друзьям – они меня ругают, как, говорят, если бы тебя государь пригласил и сам за стол не сел с тобой, так ты тоже бы обиделся? Ну, я не знаю, что отвечать, но все-таки говорю, как же, приглашала с собой завтракать, а потом – в комнату рядом... Ну, через несколько дней среди сеанса она говорит: "Хотите мадеры?" Я говорю: да. Принес метрдотель бутылку, налил два бокала. Она присела на барабане (она на нем позировала), а я с другой стороны, она подняла бокал и говорит: "Сегодня мне двадцать три года!" В это время двери открываются, и входит офицер, который со мной торговался насчет цены и вообще этикетом заведовал. Вошел, посмотрел и сейчас же обратно. Она вспыхнула и говорит мне: "Как он меня мучит! Он ко мне приставлен, и тогда вот, когда я вас пригласила завтракать, он нашел, что это неприлично, и велел накрыть вам отдельно..." А портретом она была так довольна, что потом писала мне, что когда у нее плохое настроение – она входит в комнату, где он стоит, и смотрит на себя, и настроение у нее меняется..."

29 августа. Портрет подвигается, хотя и медленно, но сам С. начинает все больше затруднять меня настойчивыми знаками внимания, приглашениями обедать с ним и жалобами на то, что я спешу домой. Со вчерашнего дня я решила приходить на час позже к нему с тем, чтобы перед сеансом выкупаться, а затем возвращаться вместо половины седьмого в семь. Автомобиль его ждет нас с И.[ваном] А.[лексеевичем Буниним] с половины третьего внизу У нашей горы. Но зато приходится возвращаться одной, без И. А. Вчера С. пошел провожать меня и стоял, опершись на борт автобуса и смотря на меня с весьма смущающим меня видом до самого его отхода. Все это меня в достаточной степени расстраивает. К несчастью, наступившая жара вынуждает к тому, чтобы ездить позже. И портрет подвигается медленно.

31 августа. Все езжу к С. Портрет должен быть скоро закончен. Езжу с И. А. на присылаемом ежедневно автомобиле Сорина. И. А. купается и потом ждет меня. С Со-

риным мне нелегко. С некоторых пор он стал говорить сначала шутливо, а потом как бы серьезно: “Выходили бы за меня замуж. Не раскаялись бы”. Я отмалчиваюсь или перевожу разговор. Вчера он сказал ни с того ни с сего: “Вы ко мне хуже относитесь, чем к последнему у вас в доме!” – что было совсем глупо. Он стал обижаться на разные пустяки, умиляться – вообще вести себя как человек равнодушный, что чрезвычайно затрудняет меня.

1 сентября. Сорин говорил во время последнего сеанса, что писатели без конца сами о себе пишут в газетах, хотя читателям это гораздо менее интересно, чем они думают, забывая, что “есть одна общая культура, в которой и художники, и скульпторы, и музыканты...”.

Я возражала, указывая на статьи в той же газете о живописи, о музыке. Потом он опять говорил, как писатели некультурны, как мало знают вне своего, как ничем больше не интересуются. Я опять возражала, приводила примеры. Но у него, видимо, зуб против писателей.

В этот день И. А. зашел по его приглашению взглянуть на портрет. Так как он вообще последнее время в грустном настроении, то вошел он как-то прохладно и говорил каким-то обескровленным голосом. Похвалил глаза, чуть заметную улыбку, вообще сходство. Но когда мы ехали с ним обратно, сказал, что при сходстве и “красивости” портрета я у Сорина все же не та и нет свободы в позе.

2 сентября. Сегодня отдыхаю, сеанса нет. <...>.

5 сентября. <...> А с Сориным сегодня было так: он попросил меня помочь ему – подержать полотно, пока он устанавливал его на подрамнике. Я сказала, глядя на портрет:

– Снимите его и пришлите мне снимок на память

Он ответил:

– Почему вы не хотите лучше взять на память меня? Я себя никому еще не предлагал, а вам предлагаю...

К счастью, мы были разделены полотном, и я не могла видеть его лица, а он моего. Уж очень мне было неловко и неприятно. Теперь предстоит ездить к нему с утра до вечера 4 дня, чтобы кончить.

<...>. Хоть бы скорей кончилась вся эта суматоха езды туда и сюда. Работать пора, а тут тревога какая-то...

7 сентября. Позирую весь день. Завтра конец. От позирования у меня распухла

нога. И еще один день!

9 сентября. Вчера, наконец, кончили. На прощание Сорин был сумрачен, но довольно сдержан. Перед самым концом не выдержал и несколько раз сказал, что ему очень тяжело уезжать и что, вообще, состояние у него неприятное. Кончили мы раньше обычного, и около шести он отвез меня на вокзал. На прощанье стиснул мне руку и сказал со слезами на глазах:

– Прошу вас, не забудьте меня!

И. А. сидел в баре на углу и писал письма. Поехали мы на поезде, и я этому была рада, перемена, и вообще как-то приятно было ощущение конца очень утомительного месяца поездок и, главное, сиденья в комнате в довольно неудобной позе. И. А. был рад тому, что я кончила. Он тоже устал ездить и ждать меня. Был необыкновенно трогателен в этот месяц со всеми его заботами обо мне.

<...> Взошла большая, уже совсем полная луна, облила сад белым светом. Я долго смотрела из своего окна на тихий сад. От усталости, от чувства отхождения еще какой-то полосы жизни, была грустна. В голове было столько мыслей: вот хотела, чтобы был портрет, столько говорили об этом, так убеждали меня Алданов и Рахманинов, говоря, что это нужно – “важно для молодой писательницы”, потом казалось, что никак этого не осилишь, а вот кончено все, и как мало похожим оказалось осуществление на мысли об этом! Портрет, несмотря на свою внешнюю похожесть и красоту, вышел, как говорит И. А., “олеографичным”, а главное, на поверку вышло и не особенно нужным мне. Так, приятно немножко, ничего больше» [8, с. 187-197].

«*2 августа* [1931]. Виделась в Каннах с Сориним. Встреча была условлена в кафе под платанами. Я не узнала его, хотя он издали поднялся мне навстречу от столика, за которым сидел с двумя молодыми американками, портрет одной из которых пишет в данное время. Он сбрил усы, похудел и от этого помолодел и стал похож на актера. Стали видны его длинные желтые, чересчур правильные зубы, вряд ли свои. От смущения он все время улыбался.

Когда американки ушли, мы пошли на мол, где немного посидели на скамейке. Он был как-то умилен, растроган, уверял, что не смел писать, т. к. мои письма смущали его тем, что были так “великолепно написаны”, что совершенно неправда. Портрет мой остался в Америке, он собирается в январе выставлять его. Говорил, что приделал какую-то не то повязку, не то шапочку на голову. Говорил о кризисе, о безденежье, о том, что теперь никто не покупает картин и ему надо будет продавать бумаги. Интере-

совался нашей жизнью и обо всех расспрашивал. Взял мою руку, лежавшую на спинке скамейки, посмотрел и с кривой улыбкой сказал: “Вот рука, которая мне не удалась!” – “Почему не удалась? – возразила я. – Она у вас хорошо написана”. – “Нет, я не о том – не удалась!” – все с той же усмешкой сказал он» [8, с. 265].

Таков был финал истории с портретом Кузнецовой. «<...>в неё [Кузнецову] влюбился художник Сорин и предлагал ей замужество, но она не сделала этого, хотя Сорин не оставил её равнодушной. Тогда ей не хватило решительности и воли, а, может быть, Сорин не проявил должной настойчивости <...> мягкотелый мечтатель Сорин» [6; 10].

А мир вокруг неумолимо менялся. «Тридцатые годы – эпоха американской депрессии, мирового экономического кризиса, восхождения Гитлера, абиссинской войны, испанской войны, “культы личности” в Советском Союзе, разоружения одних и вооружения – других. Страшное время в Европе, в мире, отчаянное время, подлое время. Кричи – не кричи, никто не ответит, не отзовется, что-то покатилося и катится» [4, с. 405-406].

Сорин еще ведет привычный ему кочевой образ жизни, постоянно курсируя между Старым и Новым светом. Он по-прежнему хороший друг, всегда готовый прийти на помощь. Об этом узнаем из писем Б.Д Григорьева. Первое из них – Владимиру Николаевичу Башкирову – дипломату, коллекционеру и ценителю искусства. который способствовал выставкам Григорьева в Америке:

«5-VIII. 933. Borisella.

У меня недельку гостил Сорин, очень развлек меня. Сейчас он поселился в Саппу со своим братом. Завтра они у нас обедают <...>.

На другой день. Borisella.

<...> Видимся часто с Сориным, он пишет нашего сына, влюбился в него, но кончить не может, хочет даже бросать работу, однако я делаю все, чтобы этого не случилось, всячески поддерживаю эту работу. Сорин уезжает в N-Y в конце сентября уже продолжать начатый весной портрет. Живем с ним дружно, очень я рад, что это нам удастся» [7].

Второе письмо – С.Ю. Судейкину от 30 июня 1936 г.: «Скажи Сорину, что и он вошел в мою душу, он трогательный и добрый <...>» (*Обухова-Зелиньска*, с. 345). Третье – тоже Судейкину от 27 ноября 1938 г.: «<...> целую Сорина за сотнягу и желаю ему миллион» [11, с. 345].

18 апреля 1938 г. Сорин в Париже участвует в похоронах Ф.И. Шаляпина. «<...> Сорин был в Париже, где принимал участие в выносе гроба с телом Ф.И. Шаляпина из храма Александра Невского» [14, с. 226]. «"Часы показывают полдень. Отзвучала "Вечная память". <...> Появляется духовенство и затем – тяжелый гроб, который несут Б.Ф. Шаляпин, граф де Лимур, С. Сорин, Ив. Мозжухин, Г.М. Поземковский, Г.М. Хмара, С. Печорин, С. Лифарь, М.Э. Кашук и др. <...>» (Посл. нов., 19 апреля)» [9, с. 355].

В 1939 завязывается его переписка с А.Н. Бенуа (машинопись этих писем, хранящихся в частном архиве, была любезно предоставлена мне доктором психологических наук, профессором Санкт-Петербургского университета и издателем В.П. Третьяковым. Орфография и пунктуация источника сохраняется). Бенуа сотрудничал с различными антрепризами, в том числе и в Америке. Сорин часто представлял там его интересы.

1939, 27 июля. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой Савелий Абрамович.

Как раз вчера за несколько минут до того, что мне подали Ваше письмо, я отослал запрос Литину о том, как обстоит с его балетными декорациями и костюмами, которые были заказаны мне, причем моя дочь Елена даже была приглашена писать декорации.

Ваше письмо меня глубоко тронуло. Я вижу в Вас поистине дружеское отношение, но меня удивило в нем то, что Вы вообще посвящены во всю запутанную сторону “Элькутейшена”, как будто вовсе не осведомлены об этой затее с балетом. Или он отложит или предложит работу, так как бессовестно держать в ожидании Елену, которая из-за них сидит в Париже в ожидании заключения условий и приступить к работе.

Вы высказываете пожелание, чтобы я стал художественным руководителем дела... но затея литинского балета лопнула...».

1939, 1 августа. С. Сорин – А. Бенуа

«Париж.

Дорогой Александр Николаевич.

Вчера ночью вернулся из Лондона и сегодня нашел Ваше письмо, я не знаю

подробностей, как и способов, чтобы Вам заплатить. Но уверен, что Вам сейчас всё заплатят. Если вышла задержка, то из-за драмы, которая закончилась в субботнюю ночь. По-моему Вам надо послать письмо или телеграмму директору этого балета по адресу Ковенгарден, даже не называя имени директора, и Вас немедленно устроят. У них остались из жестокого дохода больше 7000 фунтов, так что не может быть вопроса, чтобы не уплатили Вам за Ваш труд.

Что касается содержания Вашего письма, я абсолютно согласен во всем. Я только думаю, что балет в России исключительное создание, но их балет намного выше технически дягилевского или теперешнего Мясина. Только управляется буквально нечестными людьми и еще кретином Брайкевичем, и он того же мнения, что и я, что без Вас балет пропадет. Это будет нечто среднее между цирком и шантаном. Думаю, что к Вам пойдет Севастьянов не то, чтобы вас уговаривать, а попросить мудрый совет. Я ему сказал, что Вас никто не уговорит, но если он умолять будет о помощи, то может быть поможете. Завтра утром уезжаю. Я буду с Севастьяновым в контакте и не допущу, чтобы у Вас были какие-либо недоразумения по поводу сделанной работы.

Базиль, конечно, умен, даже слишком, и потому я боюсь, ему долго придется быть, что называется не у дел! Лично мне он был всегда симпатичен, но американцы никогда ему не простят его поступок.

Я понимаю, что Ваше имя не желаете связывать с такой ответственностью; но как же они смогут Вас использовать? Может быть, это сделать негласно и тогда не упоминать о Вашем участии? Севастьянов хочет с Вами работать, а его жена только об этом мечтает. Дандре уверен, что он все лучше других знает. Это видно по книжке, которую он о Павлове написал. Несколько раз я об этом говорил с Михаилом Васильевичем.

Сердечный привет. Ваш С. Сорин»

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Сорин окончательно переселился в США.

1939, 5 сентября. А. Бенуа – С. Сорину.

«Примель.

Дорогой Савелий Абрамович.

Сомнительно, чтобы это письмо застало Вас еще в Дакоте, поэтому я посылаю

тождественное и на Ваш парижский адрес. Но все оптимальные надежды рухнули, и вот мы опять окунулись в ту же трагедию, которая разыгралась 25 лет назад. Так и не выходим из нее, не говоря еще про общее горе для *стариков* (говорю про себя, а не про Вас) это особенно тяжело и соблазн поискать спасения и духовного и материального в Америке, получить как-то “больше возможностей” характерно.

Особенно же этот вопрос встал ребром для моей дочери и еще больше для ее мужа, для ее сына (речь идет о семье Черкесовых – А.Ш.), которые остаются здесь – просто равносильно обречению на голодную смерть. Где Вы! Мы еще думаем пробыть в Бретани до 10-го сентября, а затем перебраться в Париж, оттуда в нейтральную страну...».

1940, 4 января. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой и милый Савелий Абрамович.

Не знаю как благодарить Вас за Ваши хлопоты, приведшие к таким замечательным результатам, как ангажемент г.[осподина] Юрока. Это истинно глубоко трогательное свидетельство вашего доброго ко мне отношения, в котором, впрочем, я никогда не сомневался. К сожалению, однако все зиждется на большом недоразумении и произошло оно по всем понятным причинам, из которых главная та, что вы не получили тех двух писем, которые в момент объявления войны я написал Вам из Бретани, и из которых ни одно не дошло...

В них, как и М.М. Фокину (который и отозвался душевно) речь шла вовсе не о моем или нашем с Анной Карловной переселении в Новый свет, а о том, чтобы помочь туда выбраться моему зятю Черкесову с женой – моей дочери и их сыну. Но только это, по видимому, едва ли удалось бы по нынешним временам. Тому мешает их правовое положение и недостаток средств. А. Фример был получен, но этого недостаточно, или это они просто умели воспользоваться. Я попрошу Юрия Юрьевича более подробно изложить в чем дело. Сами же мы *не можем* собраться и годы не те, а главное мы слишком закоренелые европейцы, чтобы ехать умирать в “Золотую страну”, где как не мило, и не соблазнительно, однако все же покажется слишком чужим. Разумеется, нельзя ничего предвидеть вполне. Возможно, что обстоятельства, как отсюда *понять* и создадутся... и закоренелый европеец будет *выкинут*. В таком случае раздастся с нашего берега SOS или же мы просто бросимся, куда глаза глядят. Но пока жизнь

здесь течет почти нормально и нам кажется, что в крайнем случае придется разве что переселиться к сыну в Италию, куда он нас усиленно зовет, заверяя, что там все будет пребывать и впредь в полной безмятежности.

Ну вот, дорогой Савелий Абрамович, большим соблазном переезда через океан не удалось осуществиться повидаться, побыть, но авось эта надежда может осуществиться, если вы пожелаете *сюда*.

Крепко обнимаю, душевно Ваш Александр Бенуа.

Бумагу Юрока я оставляю у себя. Кто знает, может быть и придется еще»

На этом переписка прерывается на долгие пять лет, на которые пришлось и оккупация Франции, и арест, концлагерь и самоубийство в 1943 г. Ю.Ю. Черкесова, зятя художника.

Возобновляется переписка уже после освобождения Парижа.

1944, 29 октября. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой и многоуважаемый Савелий Абрамович, прошло пять лет! И *каких* лет! С какими ужасными переживаниями и тревогами. С момента, когда мы с Вами обменялись последними письмами, и вот все же мы как-то существуем и с особой радостью я узнал от И.И. Севастьянова, что и Вы в добром здравии и полон творческих сил.

Пользуясь предоставившимся случаем, чтобы возобновить с Вами хотя бы из далекого далека беседу и первым делом поблагодарить Вас от всей души за ту помощь, которую Вы нам оказали в 1940 году и которая явилась как нельзя более своевременной. Я был должен и хранить это в своем сердце чрезвычайную признательность и в то же время хотелось бы хоть как-то, хоть отчасти *возместить* Вам предоставлением каких-либо моих работ. Однако для этого нужно или чтобы Вы снова оказались в Европе или чтобы Вы мне сказали что именно Вам было бы особенно приятно получить от меня. Пользуясь предоставленным благодаря любезности И.И. Севастьянова случаем, чтобы потревожить просьбой Вас, я узнал, что его дело Ballet-theatre использует мои макетки для “Петрушки”, хранящиеся в музее при Гарвардском университете. Мне полагается получить за использование этих акварелей известную сумму, и вот я очень прошу Вас не отказать мне в том, чтобы похлопотать за меня. Иван Иванович со своей

стороны пишет Вам подробно в чем дело. Мне же при моей несчастной непрактичности остается только просить друзей (Вас в первую очередь) об охране моих интересов.

Больше сегодня не пишу, но как только окажется нормальная корреспонденция, я расскажу подробнее, как мы прожили эти годы, ожидая что в ответ получу опять такие же сведения о Вас и разных общих друзей, главным образом о Добужинском, о котором мы очень стосковались.

Прости дорогой друг за беспокойство.

Прошу не забывать преданного и душевного друга А. Бенуа»

1944, 29 октября. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Многоуважаемый Савелий Абрамович.

Зная по опыту Вашу безотказную отзывчивость и пользуясь тем, что Вы мне дали как бы право на Вас рассчитывать, то очень прошу Вас быть моим представителем (ходатаем) в деле, о котором Вам пишет И. И. Севастьянов на предмет получения гонорара за выполненные для Ballet-theatre моих макеток для “Петрушки”, хранящихся в Гарвардском университете. Заранее душевно благодарю Вас и остаюсь совершенно преданный Вам А. Бенуа»

1944, 31 октября. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой Савелий Абрамович.

Пользуюсь предоставившимся случаем, чтобы наконец Вам высказать всю мою сердечную благодарность за то огромное одолжение, которое Вы мне сделали.

Одновременно по совету Бориса Джерди, Германа Васильевича Севастьянова обращаюсь к Вам с новой большой просьбой – именно оказывается, что я имею честь получить некоторые суммы за использование моих макеток для постановок балетной антрепризы Ballet-theatre “Петрушки”...»

1945, 1 июня. С. Сорин – А. Бенуа.

«Нью-Йорк.

От Ballet-theatre трудно деньги получить, но я их получаю. Передал все дело адвокату, и он их вызывает в суд. Он говорит по-русски и его адрес: Борис Маркович

Комар.

Посылки, которые я послал через литературный фонд должны придти не почтой, а пароходом. Их распределяет в Париже Долгополов. От меня 10 кг. на имя Анны Карловны и Александра Николаевича. На этом фоне я сам послал кое-какие вещи этим же путем. Такие же посылки должны получить от Ассоциации Денхама. Я направил три посылки через фирму христиан. Если нужны ботинки, я бы хотел иметь размер.

Когда получу деньги от адвоката, думаю лучше задержать их здесь временно. Если это затянется, я на свои деньги буду Вам посылать необходимое. Надо лишь только знать, что высылать.

Юрок окончательно решил поставить полное “Лебединое озеро” с некоторыми сокращениями в первых актах (в массовых сценах). Я думаю, что Александр Николаевич официально должен решить, какие сцены необходимы и чем можно пожертвовать, не теряя общего смысла. Юрок с этим согласен и просит Александра Николаевича сделать соответствующие подписи, которыми мог бы руководиться балетмейстер. Вообще желательно было бы, чтобы Александр Николаевич приехал лично руководить постановкой, и он готов покрыть все расходы.

Проект контракта на эскизы декорации и костюмов я перешлю, когда получу от Юрока и Александра Николаевича телеграфные сообщения их согласия или отрицания подписи контракта только если получу приличный аванс. Получил письмо от Юрока, которое совершенно меня не удовлетворяет, считаю невозможным давать какие-либо советы Юроку, не имея контракта и аванса. Без чека и контракта немыслимо с ними разговаривать. Если возможно, я бы хотел иметь письмо от Александра Николаевича с планом постановки “Лебединого озера”, т.е. сколько актов, картин и сколько костюмов, чтобы знать в какую сумму весь балет обойдется. Я ему письма не покажу, но буду знать, как ему контракт диктовать»

1945, 10 июня. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой Савелий Абрамович.

Узнал, что можно писать по-русски и это очень меня обрадовало. Хотя французским я владею почти так же как русским, однако он все же (особенно в общении с русскими) связывает и предаёт писанной речи что-то неестественное. Пишу же Вам на

сей раз в некоторой тревоге, причиненной мне драгоценным Г.В. Севастьяновым с Вашим письмом. Я то считал, что иметь дело с людьми по ту сторону Атлантиды – нечто абсолютно верное, а тут выходит, что если не связать мистера Юрока самым категорическим образом, то может случиться, что моя работа (на которую ушло уже два месяца) и на которую придется употребить еще месяц – получается впустую, так как у мистера Юрока имеется привычка не платить художникам.

Прочитав Ваше письмо и выслушав весьма пессимистические комментарии к нему нашего приятеля, я даже впал в некоторое отчаяние, но теперь отошел, т.е. я все же не могу допустить мысль, что такое коварство в отношении меня может произойти – тем более Вы же стоите там на страже моих интересов и наверное сумеете воздействовать в желательном смысле.

Умоляю теперь утешить и успокоить меня. Наилучшим утешением был бы вопрос с присылкой хотя бы какого-либо аванса, в чем я к тому же чувствую крайнюю надобность, так как здесь форменный кризис, и все дела остановились. Хуже, чем было во время войны. Когда же это кончится. Когда же снова наступят такие времена, которые позволили без особого ужаса смотреть, я уже не говорю на год вперед, хотя бы на месяц. Вот именно вследствие подобного ближайшего времени сообщение о коварстве мистера Юрока меня повергло просто в ужас.

Обнимаю и желаю всего лучшего.

Душевно преданный Вам А. Бенуа.

P.S. Занят обстоятельно вновь изучением клавира “Лебединого озера” в виду купюр. Как только закончу эту довольно кропотливую работу, так сообщу Вам результат во всех подробностях. Что же касается до моих эскизов, то за исключением нескольких костюмов уже все готово и ждет отправки.

P. P.S. Анна Карловна (да что греха таить и я в некоторой степени) огорчена, что возможно недели четыре, как не приходит больше посылок. Или нам уже не полагается их получать? Все исчерпали? Было бы жаль, ибо условия жизни здесь становятся более тяжелыми, и мы снова начинаем чувствовать *голод*. Не безобразие ли это? И ничего нельзя понять».

1945, 20 июня. А. Бенуа – С. Сорину.

«Париж.

Дорогой Савелий Абрамович,

Ваша телеграммахватила меня как обухом по голове. Положим Вы несколько подготовили меморандум, а комментарий Севастьянова еще более заставил меня насторожиться, но моя работа уже тогда была в полном ходу и я решил ее закончить. Это и произошло не далее как вчера, когда я нарисовал и раскрасил последний костюм. Как же теперь быть? А я еще в своем неисправимом оптимизме воображал, что имея дело с американскими людьми можно быть абсолютно спокойным. Но авось Юрок еще вернется из Калифорнии...

К Вашему печальному известию у меня было пять декораций. Я для большей ясности сделал и декорацию апофеоза. Ее однако я не прошу считать в контракт и попрежнему число 4. Если же все же Юрок уступит, я готов поступиться декорацией второго акта, и тогда для обоих “озерных” действий служила бы декорация, которую я готовлю для четвертого акта. Она же и превращается в апофеоз. Но уступка пока между нами. Вы же как мой уполномоченный и ходатай поступайте как найдете нужным, лишь бы этот заказ не был отменен.

Здесь установилась абсолютная остановка в делах – хоть зубы на полку. Нам слишком важно хоть что-нибудь сейчас получить. Но когда, наконец наступит более благоприятное, вернее радостное время! Нервы у меня и Анны Карловны истрепаны в конец и мы еще не можем не позавидовать Вам. Что касается моей работы, то я могу ее считать за удачную и потому было бы досадно, если бы она вообще не увидела света ramпы.

Обнимаю Вас, сожалею, что пришлось Вас столько беспокоить.

Утешением телеграммы явилось то, что Вы сообщаете о “Петрушке”, но как бы за декорации получить 800 долларов поскорее. Все же благодаря Вам все хлопоты увенчались успехом».

Бенуа вспоминает Сорина и в переписке с другими своими адресатами.

1945–1946. Из переписки А.Н. Бенуа и М.В. Добужинского:

Добужинский – Бенуа:

«Нью-Йорк, 18 января 1946 г. [...] О тебе я узнаю от Савелия [Сорина], но видимся сравнительно редко, хотя отношения наши наилучшие и живет он близко. Уже давно с радостью узнал от него, <...> что ты выбран почетным членом Союза [театральных художников Франции] – весть небывалая!

Сорин молодец и действительно он предан тебе. Насчет возможности твоего

приезда сюда мы еще недавно много с ним говорили, и оба полны нерешительности, что посоветовать. Ждем, конечно, тебя и Анну Карловну увидеть, но соображаем множество всяческих “но”. Конечно, увидеть Нью-Йорк и this country тебе будет интересно, много замечательного – “но”: как ты во многом будешь разочарован! Я сам не люблю этого города и привыкнуть к нему не могу (столько есть, что меня в нем раздражает!). Главное же – климат. <...>. Ты будешь также удивлен, как пресно и бездарно тут едят в американских ресторанах (тебе, любящему покушать, будет скучно). <...>» [3, с. 197].

Бенуа – Добужинскому:

«Париж, 13 февраля 1946 г. <...> жизнь в целом все же не только не налаживается, а как-то все больше и больше плесневеет, застаивается, и что хуже всего – нет никаких перспектив. Постепенный паралич. Переживать это во второй раз совсем не весело. С другой стороны, совсем не хочется отсюда бежать, последовать зову природы милейшего Сорина. Начинать жизнь снова с 76 лет – данке шон. Да и не понравится нам у Вас. Все чужое. Даже при наиболее счастливо сложившихся обстоятельствах мы будем себя чувствовать на чужбине, на сей раз на *абсолютной* чужбине (здесь все же европейский Запад, все же часть нашей матушки Родины – Европы). Никто не сулит золотые горы. Но с чего я снова раскудахтался! Нечто хроническое. Тут, пожалуй, и не без старческого брюзжания, но толкает мерзкое состояние дел, не столько личных, как общих. <...>» [3, с. 201].

В 1946 г. Сорин вновь приезжает в Париж. Здесь летом 1946 года он пишет портрет А.Н. Бенуа. Работа над ним длилась около двух месяцев. Бенуа высоко оценил этот портрет, “получившийся куда удачнее и характернее, нежели портрет Сергея Иванова” (письмо Бенуа И.Э. Грабарю от 8 ноября 1946 г. [2, с. 639]). В процессе работы многолетнее знакомство и теплые отношения между художниками переросли в дружбу. Бенуа пишет сыну Н.А. Бенуа 25.06.1946 г. из Парижа: «<...> куда бы нам поехать на летний отдых? Но как раз тут и оказывается, что у нас нет никакого определенного плана и что мы путаемся в каком-то *embarras de choix*. <...> Сорин хотел бы с нами (и со своим болеющим племянником) поселиться где-либо во Франции (намечается, между прочим, русский пансион в Chateau d'Arcine, который мы посетили в 1930 г. <...>. Это теперь уже отпадает, т. к. Сорина отпугнуло, что там нет ванной и что

кухня – русская). <...>. Вчера состоялся обед у Клеманов – в честь Сорина и его племянника. Угощение было чудесное, беседа уютная и интересная» [2, с. 584-585].

Вспоминает он о работе над портретом и в письме И.Э. Грабарю от 08.11.1946 из Парижа: «<...> милейший Сорин (я его как человека очень оценил во время того, как он в течение более двух месяцев писал мой портрет <...>)» [2, с. 639].

После завершения портрета Сорин отправился в поездку по Франции, о чем узнаем из переписки А.Н. Бенуа и М.В. Добужинского.

Бенуа – Добужинскому:

«Париж, 18 июля 1946 г. <...> Воздерживаюсь от дальнейшей болтовни, тем более что совершенно не уверен в твоём адресе. И такая досада, что нельзя посоветоваться с Сориным, который третьего дня отбыл в С-Деан, о. Кич (он и не собирается из Пуату переехать куда-нибудь на юг, может быть, в Пиренеи). <...> Любящий тебя Шура» [3, с. 203].

Художник возобновляет прежние знакомства, вновь включается в заботы о нуждающихся соотечественниках. Принимает участие в сборе средств в пользу И.А. Бунина.

И.А. Бунин – А. Седых. Париж, 20 декабря 1948 г.:

«<...> Мой горячий привет и благодарность Сориным! <...>. Ваш Ив.Б.»

«<...> Еще раз горячо благодарю Вас, дорогой мой, за то живое и усердное внимание, которое Вы проявляете ко мне. Передайте, пожалуйста, мою благодарность Анне Степановне и Савелию Абрамовичу – они чрезвычайно тронули меня [оказанием материальной помощи крайне нуждающемуся в это время писателю], скажите это им непременно. Рад сделать надписи для них, но нет ли возможности достать у Марии Самойловны [Цетлин] два-три-четыре экземпляра моего “Речного трактира”? Может быть, у нее осталось несколько штук? Тогда гораздо лучше будет подарить им (и еще кому-нибудь – кого Вы укажете) “Речной трактир”, чем американское издание “Темных аллей”, безбожно сокращенное, составляющее только треть того, что вышло в Париже. (Я бы немедленно выслал Вам несколько штук парижского издания, да ведь эти штуки придут к Вам не скоро <...>). <...> Ваш Ив. Бунин» [12, с. 203-204].

Сорин зовет Бенуа в Америку, о чем тот сообщает М.В. Добужинскому:

«Париж, 27 апреля 1949 г. <...> Большие, прямо-таки спасительные услуги нам оказал дельный Сорин, да вот и он (после женитьбы) вышел из нашего кругозора. Правда, зовет к себе погостить и, видимо, воображает, что у нас есть возможность взять билеты на пароход (хе-хе), тогда как у нас... не хватает на питание. Все это гнусно и гадко, а как помочь, не знаю. <...>. Мне <...> советуют: вот бы сделали и вы, Александр Николаевич, выставку. Увы! А кто же возьмет на себя расходы, кого я посмею подвергнуть риску истратить значительные средства и ничего не выручить? <...> кому нужны в дни Шагала, Пикассо и Дали мои театральные измышления или мои довольно похожие изображения всяких местностей. <...> всяких пейзажей вообще наплодили столько, что они утерли всякую ценность...

И представь себе, я все же не унываю... Сколько раз мы уже подходили к самому краю и не провалились в дыру. Авось и никто не провалится. А как раз сегодня потеплело. Солнце ярко светит, акации на нашей авеню Эм. Золя уже почти совсем распустились. Каждый год это – настоящая радость!

Обнимаю тебя, дорогой друг, крепко и тоскую, что мы кончаем нашу жизнь врозь. Любящий тебя друг Шура» [3, с. 221].

Постепенно приезды Сорина во Францию становятся все более редкими.

1950. Из переписки А.Н. Бенуа и М.В. Добужинского:

Бенуа – Добужинскому:

«Париж, 26 января 1950 г. Обнимаю тебя. При случае передай друзьям (особенно Сорину) мой привет. В моем настроении я едва ли соберусь им написать» [3, с. 223].

Добужинский – Бенуа:

«Нью-Йорк, 5-17 марта 1950 г. <...> трое моих друзей, каждый, послали письма и редактору, и критику, негодуя [на недобросовестную критику газетой “New York Times” оперы “Хованщина”] особенно язвительно написал Сомов Евгений Иванович (племянник художника – А.Ш.) [...] и рвал и метал Сорин, который подбил Карповича и Комиссаржевского написать сообща от них трех то же – и вот тебе свобода печати: *ни одно из этих писем напечатано не было.* Вот где мы живем – учти. <...>

Все-таки такая гадость меня угнетала, и так я был тронут общим дружеским

жестом.

Сорину я передал твой привет [...] (его Анна Степановна очень приветлива и мила), и мы стали чаще общаться» [3, с. 226].

Добужинский – Бенуа:

«Нью-Йорк – Нью-Йорк, 30 апреля -10 мая 1950 г. <...> Не знаю, что тебе сказать на твою тягу сюда, в Америку, разве что, удовлетворив любопытство, – назад. До такой степени все тут “не то”, что я просто боюсь за твои неизбежные страдания. Мы с Савелием [Сориным] одного мира, и, вероятно, он тебе писал [...]»[3, с. 227].

Теплые человеческие отношения Сорина со старшими коллегами по «Миру искусства» вовсе не отменяли те творческие расхождения, в которых проявлялась авторская позиция каждого из художников. Так, Добужинский отмечал в письме к Бенуа: *«Ганновер, 25-27 октября 1951 г. <...>* опять я невольно возвращаюсь к прежней теме – своему художественному одиночеству в Америке, да и вообще к одиночеству: я упомянул друзей и приятелей – как раз это те, кто не живет в New York, – и это фатально. <...>. Вернулся Сорин, но его еще не видел. Он продолжает быть хорошим товарищем, но, ты сам понимаешь, – его искусство ничего мне не говорит» [3, с. 238].

С.А. Сорин умер в Нью-Йорке 22 ноября 1953 г.

А.Н. Бенуа неоднократно откликнулся на это событие в своих письмах.

Из письма А.Н. Бенуа Л.А. Гринбергу от 04.12.1953, Париж: «Смертью милого дорогого Савелия и я и вся моя семья глубоко потрясены! За последние годы я как раз с ним очень сошелся, и вот теперь теряю в нем еще одного ставшего мне близким человека. Пустеет вокруг меня, и чувство одиночества становится все более жутким... Собираюсь выразить Анне Степановне свое соболезнование, однако мне неизвестен их новый адрес. Слышал, что они бросили свою усадьбу и переехали, а куда – не знаю» [2, с. 549].

Из письма А.Н. Бенуа Г.А. Недошивину от 25.06.1957, Париж: «О кончине Савелия Сорина вы не спрашиваете; возможно, что вы и без того уже осведомлены. Скончался этот пользовавшийся исключительным успехом художник <...> в Нью-Йорке» [2, с. 652, 656].

Из письма М.В. Добужинского А.Н. Бенуа: «Рим, 25-30 апреля 1954 г. <...> Об Америке мы не думаем <...>. Как-то страшно ехать, но многие друзья нью-йоркские зовут, а там их все меньше (умер Сорин, <...> с которым я последние годы был очень дружен. Я очень подавлен его смертью)» [3, с. 260].

В 1956 в Париже состоялась посмертная выставка Сорина «Анна Павлова и танец ее времени» [13].

Анна Степановна Сорина, вдова художника, продала их нью-йоркский особняк и поселилась в Париже. Позже она переехала в Монте-Карло, где жила на вилле «Сублико». Она стала близкой подругой принцессы Монако Грейс (бывшей кинозвезды Грейс Келли). Подарила ей свой портрет в шляпке работы Сорина. Сблизилась с семьей принца.

В 1973 г. на приеме в советском посольстве в Париже она познакомилась с министром культуры СССР Е.А. Фурцевой. Сорин завещал передать свои произведения на родину. С такой просьбой Анна Степановна и обратилась к Фурцевой и получила согласие и обещание, что картины будут размещены в отдельном зале Русского музея. Вдова художника рассказывала: «Сорин с первых лет жизни за границей держался ближе к своим соотечественникам, старался сохранить в общении великолепный русский язык. Всегда подтрунивал над теми земляками, кто пытался напичкать свою речь иностранными словечками. Он преклонялся перед всем русским: музыкой, народными обычаями, укладом жизни. Собрал большую библиотеку русских писателей» [6].

Журналист Ю. Верещагин вспоминал: «<...> Церемония передачи 17 привезенных картин проходила 10 мая 1973 года в залах знаменитой Третьяковки. В ней приняли участие министр культуры Екатерина Фурцева, известные художники, артисты, дипломаты. Обращаясь к собравшимся, Анна Степановна сказала: “Я глубоко счастлива, что могу сегодня выполнить завещание мужа передать в дар нашей Родине эти полотна... Пусть это будет маленьким вкладом русских патриотов за рубежом в сокровищницу отечественного искусства... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть картины Савелия Сорина нашей горячо любимой Родине”.

В завещании художника, в частности, говорилось: “Я – русский и хочу, чтобы в будущем все перечисленные ниже картины вернулись в Россию...” Речь шла о более чем ста картинах и рисунках, созданных мастером кисти.

Кстати, это завещание сыграло благоприятную роль в последующей акции да-

рения. Дело в том, что все художественные ценности, созданные нашими именитыми мастерами за рубежом, как правило, объявлялись собственностью той страны, где жили и работали эмигранты. Так, князь Монако Ренье поначалу запретил вывозить картины из княжества в Советский Союз.

Когда же вдова художника представила ему документы о том, что почти все эти полотна были созданы Сориним во Франции и США, и приложила к этому завещание живописца, князь разрешил вывезти из страны еще 13 картин. Таким образом, осенью 1973 года Анна Сорина привезла и эти работы в СССР. 30 известных картин художника были распределены между Третьяковской галереей в Москве и Русским музеем в Ленинграде. По распоряжению министра Екатерины Фурцевой в декабре 1973 года в Третьяковке, а затем в 1974 году в Русском музее прошли выставки подаренных картин, собравшие тысячи любителей живописи» [6]. После этой выставки появилась публикация Г.Б. Щербаковой в «Огоньке» [16].

Впоследствии князь Монако «предложил Анне Степановне полный пансион в обмен на ее коллекции. Согласие было дано. <...> По завещанию Анны Степановны все ее имущество, в том числе и картины, перешло к князю Монако Ренье III в его музей» [14, с. 227; 15, с. 251].

Сегодня произведения С.А. Сорина находятся в коллекциях многих музеев мира, в том числе в Люксембургском музее в Париже, Бруклинском музее, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Музее личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Донецком художественном музее, Музее Монте-Карло и других, а также в многочисленных частных собраниях.

В декабре 2009 года в Государственный Эрмитаж поступил дар от Мориса Барюша – выполненный Сориним в 1917 г. в Крыму портрет княгини Надежды Петровны Орловой, дочери великого князя Петра Николаевича. Круг замкнулся: работы художника не только вернулись на родину, но обрели достойное место в Эрмитаже – крупнейшем и авторитетнейшем музее мира.

1. **Бабореко А.К.** Бунин : Жизнеописание. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 457 с. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1203).
2. Александр **Бенуа** размышляет ... – М.: Сов. художник, 1968. – 752 с.
3. А.Н. **Бенуа** и его адресаты. – Вып. 2. Переписка с М.В. Добужинским (1903–1957). –

- СПб.: Изд-во «Сад искусств», 2003. – 302 с.
4. **Берберова Н.Н.** Курсив мой : автобиография. – М.: «Захаров», 2009. – 688 с.
 5. **Бунин И.А., Бунина В.Н.** Устами Буниных. Дневники. / Сост. М. Грин, с предисл. Ю. Мальцева. – Т. 2. – М.: «Посев», 2005. – 432 с.
 6. **Верещагин Ю.** Возвращенные шедевры // Гудок. – 2005. – 01.11. // http://www.gudok.ru/newspaper/detail.php?ID=281485&year=2005&month=11&SECTION_ID=12656
 6. **Духанина М.** «Монастырь муз» // Вестник online. – 2002. – 12.06. – № 12 (297). // <http://www.vestnik.com/win/http://www.vestnik.com/issues/2002/0612/win/dukhani na.htm>.
 7. **Клевицкий А.** «Америка» Бориса Григорьева // Новый журнал. – 2003. – № 231. // <http://magazines.russ.ru/nj/2003/231/grig.html>
 8. **Кузнецова Г.Н.** Грасский дневник. – М.: Изд-во «Олимп», Изд-во АСТ, 2001. – 416 с.
 9. Летопись жизни и творчества Ф.И. Шляпина: В 2-х кн. – Кн. 2. – Л.: Музыка, 1989. – 389 с.
 10. **Макаренко С.** Галина Кузнецова: «Грасская Лаура» или жизнь вечно ведомой // <http://bunin.niv.ru/bunin/family/galina-kuznecova.htm>.
 11. **Обухова-Зелиньска И.** Савелий Сорин – портретист // Русское еврейство в зарубежье. – Том 3 (8): Русские евреи во Франции. Статьи, публикации, мемуары и эссе. – Книга 1. / Редакторы-составители М. Пархомовский, Д. Гузевич. – Иерусалим: 2001. – С. 341-353.
 12. **Седых А.** Далекие, близкие... – М.: Захаров, 2003. – 272 с.
 13. Сорин Савелий Абрамович // Искусство и архитектура русского зарубежья. // <http://www.artz.ru/articles/1804786634/index.html>;
 14. **Шустер Д.** Сорин в Нью-Йорке // Нева. – 2000. – № 12. – С. 224-227.
 15. **Шустер Д.** Жена художника и портрет княгини // Нева. – 2002. – № 2. – С. 250-251.
 16. **Щербакова Г.Б.** Мастер портрета // Огонек. – 1974. – № 22 (2447). – 25 мая. – С. 8.